

В их времена: загадки "переклички через океан" Ивана Кашкина и Эрнеста Хемингуэя

Элизабета Левин

«Млечный Путь» №1, 2014 (8)», 2014 г.

Впервые напечатана английская версия: в журнале "The Hemingway Review", Vol. 32, Spring, 2013, pp. 94-108.

E. Levin. "In Their Time: The Riddle Behind the Epistolary Friendship of Ivan Kashkin and Ernest Hemingway"

Аннотация:

Принято считать, что своей популярностью в России Хемингуэй был обязан переводчику И. А. Кашкину — поэту и организатору уникальной школы художественного перевода.

Хемингуэй и Кашкин умерли в начале 60-х годов, но в истории их продолжительной эпистолярной дружбы остается много загадочного. Анализом этой переписки интересуются многие литературоведы, а ее тексты приводятся как в английских изданиях Хемингуэя, так и в российских работах Кашкина.

История переписки Хемингуэя и Кашкина может предстать в новом свете, если рассматривать ее вкуче с сопоставлением их личной жизни с судьбами их ровесников. В частности, сравнение переписки Хемингуэя и Кашкина с фактами из жизни Харта Крейна — одного из величайших американских поэтов и сестриального близнеца Хемингуэя — позволяет глубже понять их творчество и их времена.

Одной из самых ярких работ Хемингуэя был сборник рассказов "В наше время". "Мы трудимся для читателя-современника" — писал Кашкин, и эти слова стали заголовком самого значительного сборника его статей "Для читателя-современника". До сих пор было принято рассматривать судьбы Хемингуэя и Кашкина по отдельности. Их характеризовали как "индивидуалистов" или "коммунистов", как "русских" или "американцев", как "поэтов" или "переводчиков". Но, возможно, логичнее рассматривать их, прежде всего, как современников: людей, которые с первых вздохов делили между собой одну планету, одни времена.

Кольцо тугих рукопожатий
Наручником сжимает рот.

И. Кашкин

Век требовал, чтоб мы пели,
и чтоб прикусили свой язык.

Э. Хемингуэй

Хемингуэй не говорил на русском языке, и он никогда не бывал в России. Тем не менее, в тридцатых годах он стал одним из самых любимых авторов в Советском Союзе. Его книги, едва увидев свет в США, сразу переводились на русский и пользовались головокружительным успехом. Принято считать, что этой популярностью Хемингуэй обязан своему переводчику Ивану Александровичу Кашкину – тонкому, эрудированному критику-литературоведу и организатору уникальной школы художественного перевода.

Хемингуэй и Кашкин умерли в начале 60-х годов, но в истории их продолжительной эпистолярной дружбы по сей день остается много непонятого и загадочного. Анализом этой переписки интересуются многие американские и российские литературоведы, а ее полные тексты приводятся как в английских изданиях Хемингуэя, так и в российских работах Кашкина.

Эта статья пытается взглянуть на интригующие стороны дружбы русского и американского литераторов в свете сравнения их биографий с судьбами их ровесников. Как мы увидим далее, история переписки Хемингуэя и Кашкина может предстать в новом свете, если рассматривать ее вкуче с сопоставлением их личной жизни. Дальнейшее сравнение переписки Хемингуэя и Кашкина с фактами из жизни Харта Крейна – одного из величайших американских поэтов потерянного поколения и сестелиального близнеца Хемингуэя¹ – позволяет глубже понять их творчество и их времена.

Многие помнят, что первым переводчиком Хемингуэя на русский был Кашкин. Но лишь немногим известно, что Кашкин был также талантливым поэтом и одним из первых биографов Хемингуэя. Оказывается, что его объемный критико-биографический очерк "Эрнест Хемингуэй" (1966), вышедший в Москве через три года после смерти Кашкина, на три года опередил первую серьезную американскую биографию Хемингуэя, написанную Бейкером.

Биография Хемингуэя написана Кашкиным в том же стиле и тоне, что и его развернутые письма-статьи к Хемингуэю. Читатель этой биографии невольно вовлекается в диалог между биографом и его обожаемым

¹ Эффект сестелиальных близнецов выражается в параллельности (или в изоморфизме) жизненных сюжетов людей, родившихся одновременно, в один день одного года, и названных сестелиальными близнецами. Подробнее в книгах Э. Левин "Сестелиальные близнецы" (2006) и "Пространство-время в высокоразвитых биологических системах" (2012). <http://www.chronos.msu.ru/ru/rrules/item/levin-e-prostranstvo-vremya>

писателем, которого Кашкин любовно называл не иначе как "мой Хемингуэй". Кашкин верил, что между переводчиком и переводимым им автором обязана была существовать тесная связь, и он был убежден, что "переводить надо только то, чего не можешь не переводить, то есть именно тех авторов и те их вещи, к работе над которыми побуждает тебя твоя собственная инициатива и склонность". В частности, Кашкин чувствовал, как будто его объединяла с Хемингуэем некая мистическая связь. Тонко ощущая свои параллели с Хемингуэем, и в то же время подчеркивая контрасты с ним, Кашкин преуспел в подаче наиболее привлекательных для советского читателя литературных и социальных аспектов творчества Хемингуэя.

На протяжении многих десятилетий Кашкин преподавал в разных вузах Москвы. В его школе перевода, начавшей складываться в 30-х годах XX века, собралась целая группа талантливых переводчиков, называвших себя "кашкинцами". Помимо переводов Хемингуэя, кашкинцы донесли до российских читателей большинство зарубежных текстов, опубликованных в престижном журнале "Интернациональная литература", выходившем с 1933 по 1943 год. Кашкин талантливо переводил Джеффри Чосера, Роберта Фроста, Карла Сэндберга и Эрскина Колдуэлла. Его исследования творчества Джозефа Конрада, Роберта Льюиса Стивенсона и Уильяма Фолкнера отличались редкой глубиной. Совместно с одним из ранних акмеистов Михаилом Зенкевичем, Кашкин в 1939 году издал антологию "Поэты Америки XX века", в которой были включены новейшие по тем временам стихи Томаса Стернза Элиота, Арчибальда Мак-Лиша и Харта Крейна. Трудно переоценить роль Кашкина в советской литературе. Еще Мандельштам замечал, что по состоянию перевода можно судить о состоянии всей культуры, а кашкинцы несомненно способствовали подъему переводческой культуры в СССР. По словам Евтушенко в "Строфах века", в годы террора, когда Россия была отделена от Запада железным занавесом, совместная работа Кашкина и Зенкевича "явилась творческим подвигом по воссоединению разделенных культур двух противоборствующих социальных систем".

Несмотря на широкий круг интересов Кашкина, его имя, прежде всего, остается связанным с Хемингуэем. Тяга Кашкина к Хемингуэю, не покидавшая его на протяжении всей жизни, проявилась почти одновременно с первыми публикациями Хемингуэя. Уже в 1927 году Кашкин стал его первым переводчиком в России, когда он опубликовал в московских журналах переводы отрывков из романа "Фиеста", вышедшего в США в 1926 году. В 1934 году Кашкин перевел два рассказа Хемингуэя и

отредактировал его "Избранные сочинения". Через год вышел полный перевод романа "Фиеста"; за ним последовала публикация романа "Прощай, оружие!", также переведенного кашкинцами. В 1959 году Кашкин отредактировал двухтомник "Избранные произведения", в который вдобавок к прежним работам были включены переводы "Иметь или не иметь", "Старик и море", "Пятая колонна", а также многих других рассказов и статей. К сожалению, Кашкину так и не удалось дожить до публикации романа "По ком звонит колокол", запрещенного в СССР. Он умер в 1963 году, а роман впервые разрешили публиковать только в 1968 году.

В жизни Кашкину и Хемингуэю так никогда и не довелось встретиться. Для того чтобы воссоздать в своем воображении каждую черточку характера своего героя, Кашкину приходилось, главным образом, полагаться на собственную интерпретацию текстов Хемингуэя и газетных заметок о нем. Тщательно анализируя все крупинки доступной ему информации, в 1935 году Кашкин опубликовал в английском издании "Интернациональной литературы" критическое эссе "Эрнест Хемингуэй. Трагедия мастерства". Эта публикация была высоко оценена влиятельным американским критиком Эдмундом Уилсоном, который в декабре 1935 года отметил, что это было "очень талантливое эссе о Хемингуэе", ставшее по существу первым и единственным серьезным исследованием, написанным до той поры.

Кашкин не ограничился журнальной публикацией, а зимой 1935 года отправил эссе по почте лично Хемингуэю, вложив в посылку также дарственный экземпляр русского издания избранных работ Хемингуэя. Так началась эпистолярная дружба между автором и его переводчиком. В мае 1935 года Хемингуэй несказанно обрадовался, получив эту посылку от Кашкина. То был очень напряженный период в жизни Хемингуэя, когда он чувствовал себя непонятым и непризнанным на родине. По мнению Бейкера, рука поддержки, вовремя протянутая Кашкиным, очень ободрила Хемингуэя. Доброжелательное отношение со стороны зарубежного критика сыграло важную, и быть может, даже ключевую роль в дальнейшей жизни Хемингуэя. Разочаровавшись в американских критиках, жаждущий понимания и сопереживания, Хемингуэй страстно "хотел, чтобы его понял и оценил этот иностранец, прочитавший его работы и написавший о них". В ответ на эссе и посылку Кашкина, Хемингуэй решил лично поблагодарить его. В письме к Кашкину от 19 августа 1935, написанном в дружеской непринужденной форме, он признавался, что главным для него было, чтобы его произведения

были поняты, и добавлял: "Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо".

Хотя сегодня роль Кашкина в жизни Хемингуэя широко признается американскими критиками, образ этого переводчика по-прежнему выглядит в их глазах расплывчатым. В англоязычной литературе практически невозможно найти никаких сведений о Кашкине, его возраст остается неопределенным, и даже его имя пишется по-разному (порой "Kashkeen", а иногда "Kashkin"). Некоторые авторы, такие как Дональдсон, описывают Кашкина как "молодого русского критика". Другим авторам, таким как Бреннеру, Кашкин представляется, чуть ли не в отцы годящимся Хемингуэю. В 1936 году Хемингуэй жаловался в письме к Кашкину: "Я не знаю, какого Вы возраста". Десять лет спустя образ Кашкина в глазах Хемингуэя по-прежнему оставался смутным и туманным. "Есть паренек (сейчас, вероятно, старик) в СССР по имени Kashkeen. Он рыжий (сейчас, вероятно, седой)", – писал Хемингуэй Константину Симонову в 1946 году в надежде разузнать, жив ли еще и продолжает ли работать его далекий друг. И все же, несмотря на скудность информации, Хемингуэй продолжал считать, что Кашкин был "лучшим из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались". В 1952 году он выражал свое уважение к Кашкину в письме к Уилсону: "Я думал, что он лучше меня знал, что же я пытался выразить".

Не секрет, что Хемингуэй славился своей нетерпимостью к критикам. Тем поразительнее неизменно теплый тон его переписки с Кашкиным. Анализируя письмо 1935 года Хемингуэя к Кашкину, американский литературовед Морленд поражался:

"Учитывая с каким презрением относился Хемингуэй к большинству литературных критиков <...>, не говоря уже о его нарастающем раздражительном отношении к другим писателям, это письмо открывает более вдумчивого и даже скромного Хемингуэя, изголодавшегося по пониманию его работ и даже готового пояснить те определенные аспекты своей личности, и как человека и как писателя, которые тревожили многих, в том числе и Кашкина".

Не зная ничего о Кашкине и почему-то считая его "марксистом", Хемингуэй, тем не менее, не колеблясь, именно ему горько жаловался на прокоммунистические настроения в американской литературе:

"Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом или не воспримешь марксистской точки

зрения, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному – это нечто ужасное, или что не иметь друзей страшно".

Наверно, Хемингуэю все же было страшно оставаться без друзей, если он не стеснялся искать поддержки у советского литературоведа и сетовать, что политические убеждения американских критиков мешают им понять литературное значение его работ:

"Буржуазная критика ни черта не понимает, а новорожденные коммунисты ведут себя, как и подобает новообращенным: они так стараются быть правоверными, что их заботит только, не было бы ереси в их критических оценках".

"Здесьняя критика – это посмешище", – уверял Хемингуэй Кашкина и добавлял, что ему "наплевать", что они пишут, так как не испытывает к ним ни малейшего уважения. В противоположность этому, Хемингуэй не скупился на похвалы Кашкину: "Ваша статья очень интересная", – писал он, особо отмечая скрупулезность и точность анализа Кашкина.

В чем был секрет умения Кашкина оказывать умиротворяющее влияние на Хемингуэя? Парадоксально, но, несмотря на высочайшую оценку таланта Хемингуэя, Кашкин был далек от заискивания перед ним или от восторженного поклонения своему кумиру. По мнению американского критика Меллоу, Кашкину яснее, чем кому-либо другому удалось разглядеть темные стороны Хемингуэя, а его критика любимого писателя была особенно хлесткой и беспощадной. Так, в "Трагедии мастерства" Кашкин писал:

"Душевное равновесие полубольного человека постоянно нарушается, этот человек оторвался от жизни, он остался без корней и чахнет. Все, что было хорошего в нем, превращается во зло. Искусство все еще остается, оно была достигнуто, но, кажется, что ему не о чем говорить, кроме как о самом себе и о пустоте в себе".

Описывая Хемингуэя, как "непревзойденного литературного ремесленника", Кашкин отмечал, что мастерство Хемингуэя так же противоречиво, как и его личность. Кашкин не стеснялся писать, что над Хемингуэем повисла опасность утраты верности целям и принципам своего творчества, и потому он нередко превращается в "пародию на самого себя" и "заходит в тупик".

Кашкин открыто высказывал опасения по поводу душевного состояния Хемингуэя. Ему даже виделось, будто привычное лицо Хемингуэя было

всего лишь маской, под которой скрывался трагический накал противоречивых страстей, способных привести его к самоуничтожению. По Кашкину, одержимость Хемингуэя вопросами смерти подводила его к грани психического срыва. "Mens morbidus in corpore sano" (больной дух в здоровом теле), – так характеризовал он трагическую ситуацию Хемингуэя.

Почему же, несмотря на эти резкие заявления, Хемингуэй искренне уверял Кашкина: "Но я вас уважаю и ценю, потому что Вы желаете мне добра"? Что заставило Хемингуэя поверить в то, что Кашкин любил его и даже читал его мысли, как если бы сам был его двойником или одним из его автобиографичных персонажей? В чем была та разница между Кашкиным и прочими критиками, благодаря которой Хемингуэй прощал ему все безжалостные обвинения? Эти вопросы остаются безответными в литературных исследованиях.

Посмертные публикации работ Кашкина подтверждают, что Хемингуэй был прав, и что Кашкин до конца своих дней испытывал к нему самые дружеские чувства. В последние годы Кашкин писал с тоской своему другу Александру Реформатскому:

Есть в Гаване старик краснорожий,
На тебя бороною похожий,
Может, вспомнит и он обо мне.

Письма Хемингуэя показывают, что он тоже часто вспоминал о Кашкине. "Мне бы хотелось, чтобы Вы были рядом", – Хемингуэй писал ему в 1935 году. В марте 1939 года он всеми силами пытался поддерживать диалог с Кашкиным:

"Право, я чертовски рад услышать от Вас. И особенно потому, что переводы моих работ в СССР в руках того, кто писал на мои книги лучшие и наиболее поучительные для меня критические оценки из всех, какие я когда-либо читал, и кто, вероятно, знает о моих книгах больше, чем я сам".

Тогда же Хемингуэй предоставил Кашкину право на авторизованную переработку его пьесы и пообещал распорядиться, чтобы издательство Скрибнер пересылало ему корректуры новых книг.

В 1937 году Кашкин опубликовал в "Интернациональной литературе" свое второе развернутое письмо-статью Хемингуэю, озаглавленное "Трагедия силы в пустоте". В этой статье Кашкин продолжал развивать интересную

мысль о том, что все книги Хемингуэя написаны в биографическом ключе, и что существует "очень тесная связь между жизнью автора и образами его персонажей". Позже Кашкин пришел к заключению, что во всех своих произведениях Хемингуэй смотрит на жизнь и на ее ценности "глазами одного и того же героя, который под разными именами олицетворяет различные этапы в биографии автора и его поколения". Все его сложные и противоречивые герои сталкиваются с проблемами страха, насилия и смерти; они решают их по-разному, но лучшие из них ищут, как поощрять жизнь, силу и мужество. Хемингуэй передал Кашкину свои благодарности за эту публикацию в письме к главному редактору "Интернациональной литературы" Сергею Динамову.

Диалог между Хемингуэем и Кашкиным продолжался, и в начале 1939 года произошло поразительное совпадение, когда перевод Кашкиным эссе Хемингуэя "Американцам, павшим за Испанию" появился в "Литературной газете" всего лишь через две недели после публикации в *New Masses*. В те медлительные времена, задолго до изобретения электронных средств связи, когда, к тому же, требовалось получить разрешение цензуры, такая синхронизация казалась редкостным чудом.

И вновь реакция Хемингуэя была незамедлительной и трогательной. В марте 1939 года он написал Кашкину теплое письмо, в котором признавался, как тяжело ему было писать о мертвых. Приходя к выводу, что противостоять страху смерти может одно лишь творчество, он уговаривал Кашкина "когда-нибудь попробовать" писать самому, чтобы почувствовать себя творческой личностью.

По иронии судьбы, Хемингуэй не знал, что Кашкин слагал стихи с самого детства, но опасаясь публиковать их вплоть до оттепели 60-ых, писал, как и многие другие в СССР, "в ящик стола". К тому же Хемингуэю было невдомек, что переводя его работы, Кашкин был далек от кустарных подходов, и, скорее, искал способ художественного самовыражения. Одобрил бы Хемингуэй переводы Кашкина, если бы знал русский язык? Очень сомнительно. В главе "Открывая Хемингуэя" из книги "Слово живое и мертвое" одна из кашкинцев Нора Галь увлекательно описала процесс и принципы перевода. С одной стороны, Кашкин стремился воссоздать лаконичность, простоту, ритм и слог Хемингуэя на русском языке. С другой стороны, пытаясь подчеркнуть глубину Хемингуэя, Кашкин преднамеренно изменял и расширял его словарный запас.

Хемингуэй был известен как яркий поборник свободы самовыражения, отстаивавший право писателя на использование "непристойных" слов для адекватного проявления чувств и ощущений. В противовес этому, среда, в которой он рос, порицала неконтролируемое проявление чувств и противилась использованию нецензурных выражений. После публикации романа "Фиеста" мать Хемингуэя обвинила его в написании одной из самых "мерзких" книг года. В ответ он убеждал, что невозможно представить и прочувствовать реальную жизнь "без учета плохого и безобразного наряду с прекрасным". В 1934 году Хемингуэй даже опубликовал свою скандальную статью "В защиту 'грязных' слов".

Тем не менее, в этом вопросе Кашкин не соглашался с Хемингуэем. Кашкинцам мешало, что герои Хемингуэя бранились, чертыхались, говорили о выпивке и повторяли односложные восклицания. В попытке "улучшить" Хемингуэя, Кашкин планомерно очищал его словарный запас от грубостей и "непристойностей". Дошло, например до того, что переводя фразу из письма 1935 г., написанную Хемингуэем Кашкину на уличном слэнге: "Even though it makes you think me a worse shit ...", Кашкин видоизменил ее настолько, что она зазвучала как письмо студентки Института благородных девиц: "Пусть даже, прочитав это, Вы окажитесь обо мне дурного мнения".

Но вернемся к истории дружбы Хемингуэя и Кашкина. Начиная с 1940 года, развитие политических событий на мировой арене препятствовало общению писателя и его переводчика. По решению партии, идеология Хемингуэя была объявлена вредной для советских граждан. В течение последующих 15 лет имя Хемингуэя редко упоминалось в СССР. В 1956 г. Кашкин вспоминал:

"А затем началась вторая мировая война <...>, и ни письма, ни обещанные корректуры до меня не доходили. Доходили уже после войны только приветы в письме к К. Симонову или устно через посещавших Хемингуэя на Кубе товарищей".

И все же, несмотря на все препоны, диалог между Хемингуэем и Кашкиным не прекращался. В романе "По ком звонит колокол" (1940), Хемингуэй увековечил имя Кашкина, присвоив его одному из героев – предшественнику Джордана, советскому журналисту, воевавшему в Испании. Так же, как и в жизни, образ Кашкина в этом романе был смутным и расплывчатым. Так как с самого начала романа Кашкина уже нет в живых, читатель узнает о нем лишь по ряду противоречивых воспоминаний, рассказанных Джорданом и его соратниками. С одной стороны, Кашкина вспоминают как красивого, смелого и верного товарища. С другой стороны, его называют уродливым, нервным и раздражительным человеком, одержимым страхом смерти.

Выясняется, что Кашкин был тяжело ранен в ходе боевой операции, когда он со своим отрядом пытались взорвать эшелон с вооружением для сторонников Франко. После ранения его страх перед жизнью превозмог страх смерти, и, опасаясь попасть в плен, он попросил Джордана застрелить его.

Почему имя Кашкина так часто упоминалось на протяжении всего романа? Американский литературовед Бреннер предположил, что причиной тому послужила особая "роль отцовской фигуры в глазах Джордана", которую Хемингуэй отводил ему. По этой версии, Хемингуэй долгие годы боролся с чувством вины, порожденной самоубийством его отца, и потому в романе возложил эту вину на Кашкина, вынудившего Джордана совершить "отцеубийство" или "братоубийство".

Иной причиной для тревог Хемингуэя о вымышленном Кашкине могла быть его тревога за судьбу реального Кашкина. Хемингуэй догадывался, что Кашкин, вынужден был жить в постоянном страхе. Около половины членов редколлегии "Интернациональной литературы", в том числе и главный редактор журнала Сергей Динамов, стали жертвами сталинских чисток. В 1937 году расстрелян был и один из "кашкинцев" – Романович. Среди близких друзей Хемингуэя, расстрелянных в тот период, был известный журналист Михаил Кольцов, фигурирующий в романе "По ком звонит колокол" под именем Каркова. Илья Эренбург, с которым Хемингуэй подружился во время Гражданской войны в Испании, вспоминал, что способность оставаться в живых в те годы требовала умения жить, стиснув зубы, стать собственным цензором и освоить самое трудное из всех искусств – искусство молчать. Впоследствии Эренбург был благодарен Хемингуэю за преподанные им уроки забывчивости, которая, в свою очередь, была "продиктована чувством самосохранения".

Подобно Эренбургу, Кашкин-переводчик тоже усвоил искусство самосохранения. Его статьи были выдержаны в академическом стиле и не содержали никакой личной информации. В результате Хемингуэй даже не мог разузнать истинный возраст Кашкина. Но Кашкин-поэт выражал сокровенные мысли и чувства в своих стихах, в надежде, что "нет ран неизлечимых", и что в один прекрасный день он выйдет из своей неизвестности.

Времена и политические реалии менялись, и в 1987 году американский критик Линн обратил внимание на поразительное совпадение, что Кашкин и Хемингуэй были одногодками. На самом деле, совпадение было еще более значительным: оба родились в одном и том же месяце, а именно, в июле 1899 года. Еще точнее, Кашкин был на две недели старше Хемингуэя, и он родился в период новолуния, в то время как Хемингуэй родился в полнолуние.

Кашкин знал об этом совпадении. Ему казалось, что с самого начала его жизнь была тесно переплетена с Хемингуэем. Родившись почти одновременно в разных странах, оба они были призваны взвешивать те же ценности, противостоять подобным искушениям и принимать участие в тех же исторических процессах. Кашкин полагал, что его братство с Хемингуэем, порой основанное на сходстве, а порой и на контрасте, отражало тот факт, что оба они принадлежали к той же волне людей, пришедших в одни и те же годы. Чтобы лучше понять "непреодолимое желание" Кашкина переводить Хемингуэя, а также странную убежденность Хемингуэя в том, что Кашкин понимал его лучше, чем любой другой критик, важно осознать их принадлежность к одному поколению. Важно подчеркнуть также, что оба разделяли судьбу своего поколения. Чтобы яснее проиллюстрировать эту концепцию, Кашкин цитировал другого известного поэта своего поколения, Арчибальда Мак-Лиша, чье "Слово к тем, кто говорит 'Товарищ'" он блестяще перевел на русский язык:

Вот что дороже всего в нашей жизни –
Вспоминать с неизвестным тебе человеком
Пережитые годы опасностей и невзгод.

Так возникает из множества – поколенья –
Людская волна однокашников, однолеток.

Для освещения жизни Хемингуэя и Кашкина в контексте своего времени, необходимо рассмотреть основные черты того поколения и приподнять вуаль неизвестности, которая много лет скрывала факты жизни Кашкина. Первая часть задачи частично была мною рассмотрена в книге "Селестильные близнецы", где в главе о жизни Хемингуэя и Харта Крейна обсуждались проблемы их "потерянного поколения", родившегося на стыке "времен" и пережившего две мировые войны. Дальнейший анализ этого поколения, призванного внести самые смелые изменения в общественной и культурной жизни, я привела в книге "Часы Феникса". Вторая часть этой задачи порождала особенные сложности, потому что редко удается найти биографические сведения о переводчиках. В случае Кашкина ситуация изменилось в 2007 году, когда был посмертно опубликован тонкий сборник его избранных стихов. Кашкин готовил его к печати еще в начале 60-х годов, но его смерть в 1963, а затем и конец хрущевской оттепели, отсрочили публикацию более чем на 40 лет. Разбор стихов Кашкина, а также анализ его статей, вышедших в 1968 году в сборнике "Для читателя-современника", сопровождалась публикацией ряда критических и биографических очерков.

На фоне этих работ вдруг явно проявились многочисленные параллели в жизни Кашкина и Хемингуэя.

Оба в детстве были чувствительными детьми, но повзрослев, оба обладали бойцовским темпераментом, оба слыли людьми резкими и хлесткими, плодившими вокруг себя преданных союзников и ярых противников. В 1917 году оба закончили обучение в гимназии, и оба открыли в себе литературное призвание. Еще через год каждый из них пошел на странный шаг: оба добровольно вызвались на фронт. Во время короткого армейского периода оба были ранены, и после выздоровления оба разочаровались в воинской службе. Говоря словами Кашкина, оба возненавидели фальшь "трескучих фраз о доблести и жертве" и вернулись к любимому занятию литературой. На этом этапе своей жизни оба уже несли в душе шрамы военных испытаний, и оба чувствовали себя жертвами кризиса своего времени. Оба они, как и все их "потерянное поколение", рано ощущали себя сломленными и опустошенными, как будто свидетелями, присутствующими при "конце чего-то". В результате их общая любовь к литературе побудила обоих к переписке длиной в целую жизнь. Говоря словами Т. Венедиктовой, "Так они и жили в одном времени: писатель и читатель-переводчик".

В отличие от американской литературной критики, которая механически относилась Кашкина к разряду "марксистских" литературоведов, современные российские исследования позволяют рассмотреть творческую суть этого человека, долгие годы скрывавшуюся под безликой маской переводчика. Анализируя стихи Кашкина, Венедиктова подчеркивала, что они были далеки от канонических требований соцреализма. В них не задевались ни политические, ни социальные темы. Его стихи воссоздают портрет тонкого ценителя природы, поэзии и гармонии; портрет яркого индивидуалиста, всей душой ненавидящего болезненную затхлую атмосферу в своем Литературном институте. Перед нами обрисовываются черты оригинальной натуры, человека, который ненавидел рабский труд литературного ремесленника и более всего страшился потери смысла в своей собственной жизни.

Почто пишу? Зачем читаю
Нескладный, несуразный бред ?

Стихи Кашкина выдают, что его тревога за Хемингуэя, якобы приблизившегося "к грани моральной катастрофы", была и его опасениями за собственную судьбу. Кашкин неоднократно винил Хемингуэя в том, что тот постоянно надевал "отталкивающую и все же завораживающую маску Nada

(Пустоты)". И в то же время перевод Кашкина стихотворения Хемингуэя "Монпарнас" звучит в тон его собственным пессимистическим и ироническим стихам:

В Квартале не бывает самоубийств среди порядочных людей –
Самоубийств, которые удаются.

Читая стих Хемингуэя-Кашкина, угадываешь насмешку над избитыми идеологическими лозунгами. Цензорам не к чему придаться – казалось бы, стихи написаны о проблемах прогнившего капиталистического строя. Они показывают, что только "капиталистическое" (американское или французское) общество безразлично к проблемам тех, кто доведен до самоубийства. По социалистической доктрине, в "нашем справедливом" обществе ведь этого быть не может! Но, переводя строки Хемингуэя о самоубийствах в Париже, не имел ли Кашкин в виду страх умолчания пустоты собственной жизни в Москве?

В своих критических эссе Кашкин неоднократно обвинял Хемингуэя в том, что тот жертвовал творчеством во имя кустарного мастерства. В тридцатых годах он с болью характеризовал Хемингуэя как человека, у которого весь остаток сил "уходит на то, чтобы затаиться и спрятать боль". Хемингуэй в изображении Кашкина жил, стиснув зубы, чтобы казаться "непобедимым" как и в юности, хотя втайне осознавал, что силы покинули его. На Западе эти слова трактуются исключительно в их прямом смысле, как критика Хемингуэя. Но, учитывая сложность ситуации, в которой жил Кашкин во времена сталинского террора, можно задаться вопросом, к кому на самом деле он апеллировал? Только ли к Хемингуэю или и к самому себе? Какой выбор оставался у него, как у порядочного человека, живущего в условиях тоталитарного режима? Должен ли он был выбрать путь творца и расплачиваться за это преследованиями или даже жизнью, как это было в случае Мандельштама, Ахматовой или Пастернака? Или он должен был научиться молчать? Были ли другие способы, позволявшие выжить и сохранить верность своему призванию? Кашкин выбрал выживание, но в стихах, посвященных Пастернаку, он сетовал, что нести тяжкий крест Пастернака было бы ему не под силу. После смерти Сталина Кашкин поведал о своей философии выживания в статье "Перечитывая Хемингуэя", позднее включенной в сборник "Для читателя-современника". Анализируя диалоги

между стариком (прототипом Хемингуэя) и его юным спутником в повести "Старик и море", Кашкин радовался, что старик не был более одиноким :

Теперь у старика есть кому передать свой опыт и свое мастерство, и в этом смысле книга открыта в будущее. Хемингуэй как бы возвращается к тому, с чего начал, но совсем по-новому. Род проходит и род приходит, но не только земля, а и человеческое дело пребывает вовеки не только в собственных созданиях искусства, но и как мастерство, передаваемое из рук в руки, из поколения в поколение.

И хотя в книге речь идет о старости на самом пороге угасания, но здесь никто не умирает. Победа, хотя бы моральная, достигнута здесь не ценою жизни".

Между строк этого текста явно сквозит боль самого Кашкина – талантливого человека, чье творчество было задушено его жестокой страной и безжалостным веком. Собственное спасение ему виделось в будущих поколениях, которым он сумел передать накопленный опыт и приобретенное мастерство. Хотя эти строки Кашкина формально относились к роману Хемингуэя, на сей раз, в период оттепели, литературовед смог позволить себе хоть на миг снять с себя маску, позабыть о предосторожности и открыть миру секрет своей моральной победы. Сам факт, что он выжил в годы террора и войн, продолжая творчески переводить на русский язык лучшие произведения мировой культуры, можно расценивать как проявление мужества, стойкости и внутренней победы. Несмотря на кажущуюся пассивность и поражение, моральная победа была в воспитании нового поколения более свободлюбивых людей.

Последовательное сопоставление биографий Хемингуэя и Кашкина помогает лучше понять, почему Кашкин чувствовал Хемингуэя глубже других, и почему каждый из них относился к другому, как к своему "альтер эго". Живя синхронной с Хемингуэем жизнью, Кашкин, отличался от других критиков именно этой синхронностью мировосприятия, позволившей ему первым разглядеть единую нить, пронизывающую все романы Хемингуэя. В частности, глядя на личность Хемингуэя и на его творчество как на неразделимое целое, Кашкин первым понял, что одержимость Хемингуэя проблемами насилия не возникли на фоне военных переживаний, как это принято считать на Западе, а уходила корнями в его раннее детство. По мнению Кашкина, проблемы насилия явно просматривались уже в ранних описаниях безоблачной на первый взгляд юности Ника Адамса – одного из

первых автобиографичных персонажей Хемингуэя. В поисках причин, заставивших Ника Адамса бежать от привычной среды на фронт, Кашкин не находил никаких идеологических или социальных побуждений. Вместо этого он видел в поступке Ника "постоянно нарастающий инстинкт слепого протеста", практически полностью подавивший его волю. Безусловно, такие рассуждения не имели ничего общего ни с марксизмом, ни с доктриной социалистического реализма. Однако они отражали поиск Кашкиным ответа на наболевший вопрос, что же вынудило его самого покинуть занятия в московском университете и добровольно вступить в ряды Красной Армии?

Иллюзии Кашкина по поводу романтики войны развеялись очень рано, и его короткий период в армии стал тяжелым грузом воспоминаний для него. Даже в ранних стихах Кашкина есть многочисленные свидетельства о гнетущих периодах подавленности, преследовавших после демобилизации. Примерно в 1926 году он описывал, как часто замыкался в себе и надевал защитную броню повседневных забот, чтобы окружающие не могли догадаться, как он неизлечимо болен. В 1930 году его отчаяние достигло очередного пика: "Немею. Нету слов, нет мыслей, нет желаний".

Как и Хемингуэй, Кашкин перепробовал разные способы бегства от самого себя. Примерно в 1918 году, он пришел к тому же способу разрешения своих душевных проблем, что и Ник Адамс – забывать: "Забыть, забыть, но прочь, незваная слеза".

Позже он осознал, что забытье было не самой удачной идеей. В 1920 году он высказал свои сомнения об эффективности такой жизненной тактики:

Стремлюсь о том забыть, чего здесь и не помнят,
Но легче ль в тупости бездумного забвенья?

Еще позднее Кашкин пришел к выводу, что в борьбе за достойную жизнь человек должен найти точку опоры: он должен побороть старые привычки и условности и преодолеть в себе как страх смерти, так и страх жизни. Он решил исцелить свое прошлое для того, чтобы, говоря словами его стихов, "любить нежней, знать ближе, крепче верить". Эти слова стали девизом Кашкина, его щитом против насилия.

Когда Кашкин обнаружил, что в романе "По ком звонит колокол" Хемингуэй утратил веру в будущее и не видел, ради чего ему сохранять жизнь Джордана, он по-настоящему усомнился в способности Хемингуэя ценить святость жизни. Кашкин стал явно опасаться, что Хемингуэй

последует примеру американских поэтов его поколения Харта Крейна и Гарри Кроссби и покончит с собой.

Начиная с 1935 года, Кашкин в своих статьях несколько раз упоминал о трагедии Кроссби, совершившего самоубийство в 1929 году. Знаменательно, что это событие потрясло также Хемингуэя и Харта Крейна. Как описано в "Селестиальных близнецах", Кроссби был не только другом, но и издателем Харта Крейна, и потому его неожиданная смерть ставила под удар дальнейшую судьбу поэта. Сложнее понять, почему Хемингуэй, практически незнакомый с Кроссби, был шокирован не менее чем Крейн. Официального биографа Хемингуэя, Бейкера, поражала острота реакции Хемингуэя, и он не находил тому никаких видимых причин. В данном случае наиболее вероятной причиной необъяснимого поведения Хемингуэя мог стать эффект селестиальных близнецов.

Трудно сказать, знал ли Кашкин, что Харт Крейн родился точно в тот же день того же года, что и Хемингуэй, но, несомненно, что самоубийство Харта Крейна в 1932 году оказало на него большое влияние. Рассматривая работы Кашкина в том же биографическом ключе, в котором он предлагал рассматривать творчество и жизнь Хемингуэя, можно спросить, не являлось ли его первое послание 1935 года Хемингуэю отражением его собственной борьбы с нарастающей угрозой внутренней пустотой жизни? Была ли эта переписка предпринята как попытка спасти и себя и Хемингуэя от мыслей о самоубийстве?

Хотя эти вопросы кажутся риторическими, но возможно, что в свете новых исследований часть из них могут несколько проясниться. Выводы "Часов Феникса" о параллелях в жизни людей, принадлежащих к одному поколению, вкупе с эффектом селестиальных близнецов могут дать подсказку, в чем скрывался секрет взаимопонимания между Хемингуэем и Кашкиным. В свете этих исследований можно утверждать, что письмо 1935 года Кашкина к Хемингуэю и ответ Хемингуэя Кашкину, были проявлением дружественных чувств ровесников, ощущавших свою принадлежность к той же "людской волне" и желавших ей добра.

Эренбург как-то вздыхал о веке, в котором ему и Хемингуэю пришлось родиться: "...я убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний". Сам Хемингуэй возлагал на этот век всю вину за печальную судьбу своего поколения. Такой подход напоминал и размышления Гете о том, что "каждый, родившийся всего на десять лет

раньше или позже, сделался бы совершенно другим по отношению к его собственному образованию и по влиянию на окружающих". Гете относился к культурным ценностям поколения, как к "духу времени", который управлял жизнью тех, кто родился в течение десятилетия. С этой точки зрения, Хемингуэй, Крейн, Кашкин, Кроссби, Мак-Лиш и Эренбург принадлежали к тому же поколению, и их "потерянное" поколение кардинально отличалось от поколения "века Просвещения" Гете.

Тем не менее, на индивидуальном уровне, Гете тонко реагировал даже на незначительную разницу считанных часов в рождении. Несмотря на "благоприятные" десятилетие, Гете фиксировал, что родился в сложный час, когда "Луна, которая только что вступила в фазу полнолуния, обнаруживала силу своего враждебного сияния". Так как Луна "сопротивлялась" его рождению, роды были тяжелыми, и ребенок выжил чудом.

Хемингуэй, как и Гете, родился, вблизи полнолуния, т. е. в период, который Гете считал особо сложным для новорожденных. В отличие от них, Кашкин родился за две недели до Хемингуэя, вблизи новолуния. Могла ли эта разница во времени рождения отражать общность параллельного исторического сюжета, и в то же время существенную разницу на ранних этапах формирования личности?

Этот краткий очерк не претендует ни на полноту анализа многострадальной жизни Хемингуэя, Кашкина и их поколения, ни на отыскание однозначных ответов на интригующие вопросы, связанные с их перепиской. Тем не менее, даже те немногие сведения, приведенные здесь, выявляют тесную взаимосвязь между их жизнями и подтверждают важность совместного сравнительного изучения их биографии в духе Гете, писавшего, что

"Главная задача биографии, по-видимому, состоит именно в том, чтобы обрисовать человека в его отношении к своему времени и показать, насколько целое было враждебно ему; насколько оно ему благоприятствовало, как он составил себе взгляд на мир и людей и как он отразил его во внешнем мире в качестве художника, поэта, писателя".

Первой и одной из самых ярких работ Хемингуэя был сборник рассказов "В наше время". "Мы трудимся для читателя-современника", – любил говорить Кашкин, и эти его слова стали заголовком самого значительного сборника его статей "Для читателя-современника". До сих пор было принято рассматривать творчество и жизни Хемингуэя и Кашкина по отдельности. Их

характеризовали как "индивидуалистов" или "коммунистов", как "русских" или "американцев", как "поэтов" или "переводчиков". Но, возможно, логичнее рассматривать их, прежде всего, как современников: людей, которые с первых вздохов делили между собой одну планету, одни времена, одни годы – в тесном содружестве двойников времени или селестиальных близнецов.